

будет явлен традиционный церковный знак святости — нетленность его праха. Однако этого не только не последовало, а, наоборот, тело покойного стало разлагаться быстрее, чем обычно: к неистовой радости его лютого недруга, другого монаха — мрачного фанатика, аскета-изувера, отца Феропонта — и к соблазну верующих от усопшего почти сразу же пошел «тлетворный дух». И больше всех остальных «соблазнился» сильнее всех любивший старца и «веровавший» в него Алеша.

Заблаговестили к вечерней службе. Но Алеша направился в сторону, противоположную храму, а на вопрос отца Паисия, который со смертью Зосимы становился его руководителем, куда он «поспешает» («Али из скита уходишь? Как же не спросясь-то, не благословясь?»), ничего не ответил, затем «вдруг криво усмехнулся, странно, очень странно» посмотрел на него «и вдруг, все по-прежнему без ответа, махнул рукой, как бы не заботясь даже и о почтительности, и быстрыми шагами пошел к выходным воротам вон из скита».

Происходившую в Алеше перемену заметил не только опечаленный отец Паисий, но и радостно удивленный ею «семинарист-карьерист» Ракитин (данный автором в резко отрицательных тонах образ радикального журналиста-шестидесятника): «Знаешь, ты совсем переменялся в лице. Никакой этой кротости прежней пресловутой твоей нет... — Отстань! — проговорил вдруг Алеша... — Ого, вот мы как! Совсем как и прочие смертные стали покрикивать. Это из ангелов-то!...». А на саркастический вопрос Ракитина, неужели он «взбунтовался» на бога только потому, что старец «провонял» («Так ты вот и рассердился, теперь на бога своего взбунтовался: чином, дескать, обошли, к празднику ордена не дали!»). Алеша отвечает формулой «атеиста» и «социалиста» — брата Ивана: «Я против бога моего не бунтуюсь, я только „мира“ его не принимаю, — криво усмехнулся вдруг Алеша». То, что следует дальше, действительно являет собой, в некую параллель философскому бунту Ивана, своеобразный антимонастырский бунт. «Ангел»-Алеша начинает вести себя как и прочие смертные: почувствовав голод, не отказывается ко все растущему удивлению его собеседника, от колбасы, даже от водки. Больше того, соглашается пойти к Грушеньке, которая обещала Ракитину 25 рублей, если он приведет к ней Алешу. И «позор праведного» — падение Алеши, одна мысль о возможности чего так восторгала Ракитина, очевидно, произошло бы, если бы «инфернальница» Грушенька не оказалась в этот момент совсем в другом настроении, ожидая лошадей, которые должны были помчаться к «прежнему» — соблазнившему, бросившему ее и снова позвавшему офицеру.

Из тягчайшей душевной потрясенности — тоски, отчаяния, разуверения во всем — Алеша скоро вышел. Дорогой ему образ хотя и «не получившего ордена» «праведника» снова засиял в его душе. Да и потрясен он был не столько отсутствием всеми чаемого, но не свершившегося чуда, сколько нарушением «вышей справедливости», согласно которой, по понятиям Алеши, «праведнейший из праведных» должен был «быть вознесен превыше всех в целом мире», а вместо этого «поспешным тлением» был «вдруг низвержен и опозорен»: «Где же провидение и перст его? К чему сокрыло оно свой перст „в самую нужную минуту“ (думал Алеша) и как бы само захотело подчинить себя слепым, немым, безжалостным законам естественным?» Отсюда и согласие Алеши с формулой Ивана и уже predeterminedенная предыдущим радикальная смена жизненных дорог: Алеша твердо и решительно ступает вместо небесной — монашеской — на дорогу земную. После повторного и окончательного прощания с «мертвецом» он, «круто повернувшись», вышел из его тесной келейки: «... душа его жаждала свободы, места, широты. Над ним широко, необозримо опрокинулся небесный купол, полный тихих сияющих звезд... Алеша стоял, смотрел и вдруг как подкошенный повергся на землю. Он не знал, для чего обнимал ее, он не давал себе отчета, почему ему так неудержимо